

В. И. Ольшевский,
журналист

Дорогами боев

Звучала в тот день в Москве мелодия, щемящая памятью давних годов — «Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков...», — словно на волне этой мелодии, медленно двигался по улицам Москвы бронетранспортер с развернутым гвардейским знаменем и рядом с орудийным лафетом печатали шаг молодые ребята-таманцы. От братской могилы под Крюковым, от сорокового километра Ленинградского шоссе, к месту своего упокоения у Кремлевской стены улицами Москвы проследовал главный солдат минувшей войны.

Неизвестный солдат.

Солдат московской битвы.

Тогда, в сорок первом, накануне боя под Крюковым, командир 1073-го стрелкового полка из панфиловской дивизии казах Момыш-Улы оторвал от своей карты трехверстки ту часть, где была означена Москва и ее пригороды. Потому что встали бойцы на том рубеже, за которым живым не нужна была карта, а мертвые карты не смотрят.

Кто знает, может, был он из 1073-го

Ленинградское
шоссе
22-й километр.





стрелкового полка, неизвестный солдат, что ныне лежит у Кремлевской стены. И над тяжелой из бронзы звездой рвется над ним на ветру негасимое пламя, и в День Победы, в минуту молчания, когда в тишине одно только пламя, — пронзительно молчание живых над памятью павших.

Железной была та осень, зима сорок первого года, когда враг рвался к Москве... Нынче каждый раз в День Победы на весенней зелени Подмосковья заметны белые памятники, обелиски и красные ленты венков. От села к селу — ленты венков на зеленом светлом кобальте мая. От села к селу — словно нет места, откуда бы не ушли на войну солдаты, и нет места, где земля не хранила бы память. А тогда был снег в полях Подмосковья. По этому снегу босыми ногами шла к виселице Зоя Космодемьянская. И у разъезда Дубосеково было холодно в промерзшем окопе, не подтащить было полуостывший в термосе солдатский суп, и жевали солдаты каменные сухари. А когда начался бой — бессмертный бой двадцати восьми, — сжимало сердце от коробчатых, невероятной тяжести вражеских танков... Они были просто людьми, просто солдатами.

Бронзовая Зоя стоит у Дорохова на Минском шоссе. А старой крестьянке из тех мест, Анисье Белагиной, видится: это ее Соня. Трое сынов полегли у нее в московской битве. И дочка Соня погибла под Вязьмой. Это она — из бронзы.

Точно так же, как суровыми изваяниями из бетона встали солдаты Дубосекова. А память о них с нами, живыми, — живая.

Есть ощущение неповторимое в первопричастности к памяти. Близ Красной Поляны под Лобней — это там, где враг ближе всего подошел к Москве и к Москве не прошел, — начертано на мраморе имя лейтенанта Женева. Кто был он? Вчерашний московский десятиклассник, только что из училища, в необмятой еще шинели — и сразу в свой первый бой? Я каждый раз читаю это имя — думаю о нем: лейтенант Женева... Еще когда не было памятника в Ушачах, под Лепелем, на белорусской земле, мне довелось проехать, пройти с ветеранами партизанских боев их былыми дорогами. Видел в людях немолодых и поседевших, как вставала за ними молодость, засады под Лепелем и неистовый, смертный тот прорыв сквозь вражеское кольцо под Ушачами.

Обелиски, ленты венков, зелень на весенней земле Подмосковья. Почему это память той давней студеной жестокой битвы сильнее всего звучит весной? Ведь тогда рано пришла зима, было суровое Подмосковье — как те бетонные, холодно-

го бетона противотанковые надолбы — «ежи», что поставлены памятником грозной Москве сорок первого года у выезда на Ленинградское шоссе, за кольцевой дорогой. Почему же нежность, почему весна более всего зовут к себе память? Или потому, что едины — весна и жизнь и едины — жизнь и память?

Когда идешь от станции Снегири к реке Истре — слева в лесу крашенная синей краской ограда — ее видно с дороги. Вот и в эту весну я снова пришел к этой синей оградке в лесу — к старшему сержанту Федосееву.

Я не был у тебя давно, сержант. На свете снова весна, сержант. Я хочу рассказать, какие сейчас дали в полях и какая пролегла зеленая акварель по дымке ветвей над Истрой-рекой. Ты поймешь меня, сержант: мне чудятся сквозь эти летние краски весны и я не могу отыскать следы танков на этой земле с того декабря сорок первого года, когда в этих местах, из-под Павловой Слободы, бригада Каткова рванулась во фланг и в тыл истринской группировки врага.

Будто можно их отыскать.

Я все хочу отыскать, ничего не позабыть на этой весенней земле. В том же декабре сорок первого, в ночь начала наступления моряки-тихоокеанцы из 64-й бригады морской пехоты поднялись в атаку на Белый Раст, а сзади, со стороны леса, чтоб держать направление, светили им на створе ночные костры. Так они входили в свои гавани — на створе огней маяков.

Белый Раст — это по Савеловской, недалеко от станции Трудовая. Я приезжаю сюда постоять — словно возле тех ночных огней. На бетоне памятника матросская бескозырка. Белый Раст на высоте, над всей округой, и над всей округой весна. А мне видится — костры в жестокой декабрьской ночи... Тогда, в ночь наступления, старшина Федотов вышел с противотанковой гранатой в свой последний бой: он скинул каску и, достав из кармана, надел бескозырку. Не его ли бескозырка на постаменте? Только теперь она из бронзы.

И еще я нашел там, в Белом Расте, Наталью Егоровну Бузинову. В своих воспоминаниях о московской битве генерал К. Ф. Телегин пишет: возле дома «тетки Бузинихи» героини бились моряки-батареицы. Спрашиваю, где тот дом. И вдруг — чего никак уж не ожидал: «Бабушка, к вам пришли!» К кому я пришел? Взшел к кому? К истории, к легенде? На крыльцо вышла тихая ласковая бабушка, и рассказала она, что дома того уже нет, а стоял дом — вон где стоит старый вяз, а вяз этот хотел кто-то срубить, но сельчане не дали срубить вяз.

Я постоял возле старого вяза. На этой

земле ничего не забыть. Я был рад в Можайске за полковника Виктора Ивановича Полосухина. Это тот командир 32-й стрелковой дивизии, который в книге посетителей музея в Бородине оставил в сорок первом последнюю запись: «Пришел защищать Бородинское поле». Она не была гвардейской, дивизия Полосухина, в пору боев на Багратионовских флешах и на батарее Раевского и когда освобождала затем Можайск. Но на памятнике написано: «Командир 32-й гвардейской». Видно, очень хотелось людям, чтобы торжественно, высоко звучало имя полковника родом из города Рубцовска, с Алтая, который сражался за их Можайск.

Я вояку хочу верить на этой мною исхоженной, дорогой мне земле — на Истре, в Можое, в полях у Белого Раста: пусть в памяти Можайска дивизия Полосухина будет гвардейской.

Хочу верить — да, это та «Т-тридцатьчетверка» с номером на башне «203», вознесенная на постаменте возле Наро-Осанова на магистрали Москва — Минск, — это она, из книги Леонида Леонова «Взятие Великошумска», у нее тоже был номер «203», у машины лейтенанта Соболюкова. Помните: «лейтенант Соболюков с семью хохолком из-под матерчатого танкистского шлема». Верить хочу, знать хочу: он здесь живой, возле своего танка. Твои следы ищу на подмосковной весенней земле — следы всех твоих семидесяти двух траков — танк двести третий, лейтенант Соболюков, Соболек, Соболецек!..

Ныне стынет железо «тридцатьчетверки» под Наро-Осановом. И незрячи коллиматоры прицела зенитного орудия возле Лобны, что прямой наводкой било по фашистским танкам. И недвижим взлет штурмовика ИЛ-2 над обрывом Истры, недвижим взлет самолета Як-3, поставленного в память защитников московского неба. Танк Т-34 у поселка Ленино на Волоколамском шоссе, Т-34 — у Зеленограда. Пусть смотрят люди на то святое оружие, которое оборонило столицу... Помните... Есть фотография из тех, давних времен, когда гитлеровцев изгнали из Клина: опрокинутая наземь, белого мрамора, прекрасная, гордая голова Чайковского под колесом эсэсовского мотоцикла. Тогда была раскаленной броня «тридцатьчетверок» бригады Ротмистрова — всей яростью огня и металла давили его машины бегущие от русской святыни исчадия ада.

О, как их тут били по всему Подмосковью — тех, кто нес свой «Тайфун» на Москву! Как рваной сталью чужих танков, орудий был устлан путь откатившихся от Москвы полчищ и как торжествовала Москва — победная Москва со-

рок первого года! Еще предстояли три с лишним года войны. Дорога еще предстояла — от Можайска, от Волоколамска до Берлина. Но Москва уже вдохнула воздух победы. Воздух весны, который был в сорок пятом в Берлине.

В сорок пятом, когда с Одерского плацдарма, от Зееловских высот, шли мы к Берлину, яблони цвели на дорогах войны. Мы шли по жесткой земле, но отступала война, и яблоневый цвет ложился нам на стволы орудий. Казалось, что вот так же цветут сады у нас, в России.

У нас, в Подмосковье.

Вот недавно на Истре, все на той же моей реченьке Истре, возле деревни Лужки, где позабытая церковь, снизу, с воды, я разглядел: небольшая пирамидка на высоком и крутом берегу. Скромная пирамидка, бетон с мраморной крошкой: «Здесь проходил рубеж обороны».

Да что это за странная память такая, которая не уходит, живет в человеке и сладкой болью щемит сердце! И такая



была весна с высоты, такая весна в полях, лесах, будто ради одной только этой весны и встал тут когда-то рубеж обороны. А чуть поодаль, на краю соснового леса, старый пушкарь, я угадываю следы оплывших от весенних паводков орудийных позиций, и вот уже снова, как когда-то, я намечаю сектора обстрела и ориентиры стрельбы, и неужели это здесь было? Неужели?.. Под Звенигородом, вдоль речки Сторожки, писал свои этюды Левитан,

Памятник на могиле Лизы Чайкиной.

прибрежной тропкой ходил молодой земский врач Чехов, здесь Танеев слушал свои мелодии. Вдоль берега Сторожки — окопы с войны. Кто помоложе, не знает, что это окопы. Они позаросли кустарником, а березы, что встали на их брустверах, из земли, перекопанной солдатской лопатой, уже большие. А старые солдаты знают. Нет, не бронза, не гранит, не вечный огонь. Просто окопы. Память.

Оплывает земля, зарастают травой окопы.

Стынет на постаментах праведная броня.

А люди не уходят в остылость годов.

В бронзе — словно это ставшая бронзой песня: «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой», — в бронзе ребята перед зданием 110-й школы в Столовом переулке. Ребята, мальчишки, которые не пришли с войны. Как висят на худеньких плечах длинные, не по росту шинели, как неумело накручены обмотки над солдатскими башмаками, как тяжелы винтовки на ремне! Их пятеро, они из одного класса, им памятник сделал скульптор Митлянский, одноклассник. Пятеро. Юра Давильковский погиб на Орловско-Курской дуге. Игорь Купцов, он стал командиром батальона. И он погиб. Игорь Богуславский, убит под Курском. Габор Рааб, сын венгерского коммуниста, убит, когда до конца войны оставалось несколько дней. Гриша Родин, он поднял роту в атаку и тоже убит.

Москвичи, мальчики светлые, сверстники мои, — вам было бы сегодня уже под шестьдесят, а вы навсегда останетесь двадцатилетними!..

Не помню уж названия села, это если от Рогачевского шоссе, где Подъячево, свернуть к Яхроме и далее, на спуске к безымянной речке ли, ручью: на бетонной стеле, под стеклом, фотография за фотографией — все молодые лица, многие одной фамилии: братья, отцы, сыновья. Они жили здесь, в этом селе. Они ушли на войну и не вернулись. И не танк на постаменте, не бронза мемориала, а вот эти простые фотографии — все тот же свет на них, летящий из дали годов.

Их много, таких памятников, в Подмосковье. В каждом селе. Их ставили не зодчие, не ваятели — односельчане. И имена, имена на этих памятниках, русские имена. Сколько же сынов своих отдала ты в боях, Россия!..

Вы были в Бресте, вы слышали, как из динамика, с высоты титанового обелиска, вознесенного над руинами крепости, над изваянием солдата, вырастающего из глыбы камня, будто из глыбы годов, льется мелодия — плач Ярославны над Путивльской стеной, плач Родины о солдатах бессмертных?

Плач Ярославны и стремительный, вознесенный в небо титановый обелиск — громоподобный металл современных ракетноносцев.

И в древней Верее: рядом с памятником генералу Дорохову, герою 1812 года, — памятник бойцам 110-й и 113-й дивизий, освободивших Верею в сорок первом. Рядом с обелиском — кутузовским победным орлом на поле Бородина — памятник солдатам, памятник чести дивизии Полосухина. Есть удивительные совпадения в истории: в осень сорок первого года на поле русской ратной славы снова стояли насмерть защитники Москвы. Снова кипел бой на Шевардинском редуте, но шли на него не кавалеристы Мюрата, а танки фельдмаршала Клюге. И вновь в сплетении огня, железа и грохота выстояли защитники Бородина.

«Вот место, на котором гордость хищников пала перед неустрашимостью сынов Отечества». Это слова Михаила Кутузова.

«Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву». Это слова маршала Жукова.

Все соединено на этой земле: и память полководцев, и память старой женщины из Белого Раста. Все соединено: взлет вертикалей титанового обелиска над подвигом брестских героев — взлет металла ракетноносцев и космических кораблей — и вечный зов Ярославны!.. «О, Русская земля! уже за шеломенем еси!» — как соединено все в дали годов: и весенняя та ночь в сорок пятом на Оudere, когда вынесли к бойцам гвардейское знамя и был прочитан приказ: взять фашистский Берлин и закончить войну. Помню вас всех: радиста Вальку Кроткова, старшину Михайлова, лейтенанта Федора Усика, сержанта Потаничева, что схоронили мы тогда под Берлином. Недавно я был в Берлине. Но тех мест было уже не узнать. Сотрудники военного атташе сказали: ребята, которых ищете, они в Трентов-парке, где бронзовый солдат перерубает мечом фашистскую свастику. Я глядел в лицо бронзового солдата. Это был Валька Кротков, и Потаничев, и Михайлов, и Федор Усик.

Товарищи мои сорок пятого года — они теперь в бронзе.

Это в них далекая весна на чужой земле отзывалась весной в России.

Здесь, на этой русской, подмосковной земле, в тихих нынче полях, лесах, перелесках началась исполинская расправа с фашизмом. Отсюда начал свой путь бронзовый солдат, что стоит в Трентов-парке.

Да еще проляжет рубеж Славы от Калининна до Тулы, там, где проходил

фронт, — он вберет в себя все памятники, установленные в местах сражений, и новые памятники, которые еще будут поставлены, и пусть будет он весь в светлых и ласковых рощах, пусть это будут березы, вставшие на линии огня... Годы идут, все меньше остается ветеранов войны и все больше встает монументов в местах памяти сражений. Летопись продолжается — есть высокий долг искусства: увековечить память о битве под Москвой, о солдатах и ополченцах, командирах и комиссарах, о женщинах, рывших окопы, и тружениках заводов тогдашней, прифронтовой Москвы, обо всех, кому судьба назначила жить и сражаться в тот грозный час истории. Увековечить в живой неповторимости образов и судеб: пусть никто не будет забыт и ничто не будет забыто и пусть, как в бронзовой Зое у Дорохова, в бронзовом Викторе Талалихине в месте его гибели, у Подольска, прочитаем мы, ныне живущие, и прочитают сыны наши повесть о людях, отстаивших Москву.

Есть легенда — я знаю, что это легенда, но я не смею ее порушить. В осень первого года войны, весь изорванный, изодранный вражеским железом, умирал в лефортовском госпитале полковник Хижняк. Уже немного оставалось ему дыхания, и тогда вызвали в поздний час и привели к нему скульптора Веру Игнатьевну Мухину. И Мухина в ту ночь вылепила его портрет. И пока работала она над портретом, смерть не смела подступить к изголовью полковника Хижняка.

Это легенда. Мухиной не было в ту пору в Москве. И портрет был сделан несколько позже и при других обстоятельствах. А только вызывайте в памяти этот мухинский портрет, эту гневную бронзу, портрет Ивана Хижняка, что ныне стоит в Третьяковской галерее: он у нее словно судья на неохватном судилище войны — самый гнев народа в минувшую войну... Легенда? В век тревожный и грозный нам нужны эти легенды. Нужны — как вера в свою землю, в свою Россию. Вечно живым пребудет подвиг. Это как в словах поэта:

Посредине планеты
в громе
туч грозных
смотрят мертвые
в небо,
вера в мудрость
живых!..

Хочу вот что сказать. Если вы будете идти от станции Снегири Рижской дороги на Жевнево, к Истре-реке, подойдите к сержанту — он с сорок первого года не видел весны. Вы скажите сержанту, какая на свете весна.



Яхрома. Мемориал в память воинов - освободителей.